

ЛОГИКА, ВОЛЯ И ДОСТОИНСТВО

Когда Достоевский отвергнутый любовницей, вернулся домой в ноябре 1863 г. и застал свою жену находящейся при смерти, он, образно говоря, скрылся в подполье, начав работать над «Записками из подполья». Это произведение — крик со дна, свидетельство из самого мрачного периода жизни писателя и одновременно кульминационный и поворотный пункт в его творчестве. Если в «Бедных людях» главной темой было сострадание к бедным и падшим, «Двойник» — это изучение и попытка изобразить изнутри больное, двоящееся сознание униженного человека, «Белые ночи» — исследование чарующей силы мечтателя, «Записки из Мертвого дома» — описание, хотя и в скрытой форме, своего личного опыта в познании духовной силы, имеющейся, по мнению писателя, в русском народе, то теперь, в «Записках из подполья», Достоевский развивает и очищает как бы последнюю из своих основных красок или главных тем, пронизывающую все его большие романы — протест против рационализма.

«Записки из подполья» — произведение, которое наиболее приближается к философской работе. Главный герой является прототипом многих отрицательных героев Достоевского, праотцом Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании», Николая Ставрогина в «Бесах» и в некоторой степени Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых». Подпольный человек — главный герой «Записок», имеет своего непосредственного предшественника в лице господина Голядкина в «Двойнике» — юношеском произведении, переработкой которого Достоевский занимался почти одновременно с написанием «Записок». В этой новой работе он еще более углубляет свое исследование психологии унижения. Правда, подпольный человек не раздваивается в таком буквальном смысле, как господин Голядкин, но и он, находясь в состоянии презрительного самонаблюдения, как и Голядкин, впадает то в высокомерный триумф, то в убогое самоунижение. Даже погода, являющаяся фоном этих двух рассказов одна и та же — промозглая петербургская слякоть. Столица России, которую Достоевский позволяет человеку из подполья провозгласить «самым отвлеченным и умышленным городом на всем

* Публикуем две главы из кн.: *Peter Normann Waage. Fjodor M. Dostojevskij. Gyldendal Norsk Forlag, 1997.* Пер. Ирины А. Воре.

земном шаре» (5; 101), и для самого писателя является крайне двойственным местом. Замысленный и основанный одним человеком — Петром I, — возведенный по его приказу на болоте город вызывал у Достоевского такое чувство, что этот город со всей своей рациональностью, со своими прямыми проспектами, в один прекрасный день вдруг может улетучиться, оставив вместо себя прежнюю финскую топь. Петербург является неизбежным фоном лихорадочных фантазий Раскольникова, злобы подпольного человека и раздвоения господина Голядкина.

Душевная динамика, которую Достоевский изображает в «Двойнике», более абстрактно и сложно показана в «Записках из подполья», хотя состояние подпольного человека также следствие недостающей ему способности выражать свои «амбиции» (18; 31). Рассказ ведется от *я-лица*, где главный герой рассказывает о том, как он приглашает себя самого на встречу бывших школьных товарищей, которых он презирает и в то же время превозносит. На вечеринке он устраивает скандал, поставив себя в довольно глупое положение, а по дороге домой поступает так же, как и фельдъегерь из юности Достоевского: колотит в затылок кучера. Теперь для Достоевского эта картина больше не является символом «филантропического общества» (22; 28): порок скрывается не в социальном устройстве. Скандализируя себя, человек из подполья следует более внутренней, чем внешней закономерности, под сильным воздействием глубокой к себе ненависти и своего бессилия.

Подпольный человек становится фишкой в игре, которую он видит насквозь, но из которой не способен выйти. Здесь затрагивается уже не чисто душевный мир, но и философское направление, другими словами, подпольный человек попадает в сети «разумного эгоизма» Чернышевского. В определенном смысле собственный преувеличенный рационализм подпольного человека, его болезненная занятость собой, как следствие его рефлексии, толкают его в неприятные ситуации и одновременно являются средством, с помощью которого он высмеивает мир логики. Подпольный человек добивается встречи с товарищами, которых он, по его же словам, презирает, по той же причине, по которой он шипит и плюет на научность и веру в разум, не в силах все же от них освободиться. Находясь в плену разоблаченного и ненавидимого им рационализма, подпольный человек, сидя в своей дыре, опрокидывает свое самопрезрение и на остальное человечество.

«Тесные комнаты порождают тесные мысли», — утверждал Достоевский (ср.: 3; 169 и 6; 320), и единственным удобством, в котором он никогда себе не отказывал, был просторный рабочий кабинет.

Мысли подпольного человека тесны и односторонни, но образ его продуман широко — он является одной из наиболее сложных фигур, созданных Достоевским. Тем более потому, что через этот образ писатель

передает некоторые из своих собственных убеждений, но только как бы вывернутыми наизнанку, пропущенными через «человека больного, злого человека, непривлекательного человека» (5; 99), как сам себя характеризует подпольный человек.

«Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша украдкой показать», — восклицает человек из подполья в монологе, направленном против Чернышевского и других рыцарей рационализма. Его голос, как дразнящее эхо собственных слов Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях». «Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — все равно. Да, — отвечаю я, — если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться» (5; 120).

Но человек живет и не для того только, чтобы быть разумным существом, и не ради «счастья», как полагает Чернышевский. Вера в интеллект и науку становится поэтому такой же глупой, как именование курятника дворцом: «Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов до 108 000, и занесены в календарь. <...> Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так, что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган» (5; 112–113).

Против веры в разум, которую человек из подполья презрительно называет «дважды два четыре» (5; 119) и сравнивает со стоящим на дороге и плюющим франтом, против представления о возможности вычисления человеческого счастья, подпольный человек выдвигает так называемую «волю», выражающую всю жизненную способность человека и одновременно невычислимую. Когда хочет, она может и «язык выставить» или сделать что-нибудь еще более бесполезное, приносящее одно несчастье. «Да осыпьте его [человека] всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде, дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной

истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно, чтоб настоять на своем! А в том случае, если средств у него не окажется, — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек по минутно доказывал себе, что он человек, а не штифик! хоть своими боками, да доказал, хоть троглодитством, да доказал» (5; 116–117).

В этих словах не трудно узнать юношеские открытия Достоевского, части этого монолога — это переработанные мысли о том, что происходит с человеком, когда «нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем», как в 1847 г. писал Достоевский, придя к заключению, что в России «мало необходимого эгоизма» (18; 31), и подразумевая под этим, что русская действительность препятствует человеку в выражении его глубинных способностей. Теперь писатель обвиняет «разумный эгоизм» в установлении еще худших преград для возможности человеческого проявления тем, что он заменяет человеческую природу интеллектом, устраняя этим самую человеческую из всех возможностей выражений души, а именно свободную волю. Здесь опять не трудно узнать опыт, вынесенный Достоевским с каторги, где заключенные месяцами копили и экономили, затем чтобы прогулять весь свой капитал за один вечер,

и делали это для того только, чтобы вопреки всему доказать, что и они люди, способные себя выразить. Эту же закономерность он увидел, так сказать, и у порога Хрустального дворца, где лондонский пролетариат пропивал свой недельный заработок за один вечер. Теперь Достоевский утверждает, что страна счастья социалистов не что иное, как более утонченная форма каторги, которая также будет невыносима для человека. Но мы узнаем и большее, а именно парадокс Христа Достоевского в том смысле, как он выразил его в письме к госпоже Фонвизиной, вскоре после своего освобождения: «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной» (28, I; 176). Как мы уже отмечали, парадокс этот можно понять, рассматривая его, с одной стороны, во взаимосвязи со стилем Достоевского, где истина всегда связана с человеком, и, с другой стороны, в связи с его борьбой против так называемого «эвклидовского разума». Этот разум, имея естественно-научную основу, заменяет целостную действительность только одной видимой ее стороной и конструирует теорию о человеке и истории на основе одного осязаемого мира. Как Достоевский позднее покажет в «Идиоте», в таком вычисленном мире нет места Христу. Христос находится вне этой, основанной только на логике и на будничном опыте правды. Герой «Записок из подполья» показывает, что, человек как таковой вытесняется из мира, построенного с помощью научной истины.

Здесь мы не дадим себя запутать тем, что Достоевский формулирует свои положительные идеи отрицательным, циничным образом — для человека из подполья высшим человеческим свойством является не способность прощать, а способность проклинать. И это правильно, если мы учитываем личность подпольного человека, который не способен выразить христианскую истину Достоевского по-другому, чем только в карикатуре. Хотя мы все же имеем слова Достоевского, в которых эта истина положительно утверждается, но цензура, не считаясь ни с чем, вырезала именно те места, где Достоевский выдвигал свою альтернативу в противовес благоговению радикалов перед рассудком и атеизмом (см.: 5; 375).

Речь о воле, с жаром произносимая подпольным человеком, может на минуту заставить нас думать, будто бы Достоевский ставит иррациональное начало выше всяких форм разума, что он отклоняет всякую мыслимую взаимосвязь в истории и человеческой жизни. И это почти что верно, но только почти. Так же, как Достоевский сам называл свой стиль «фантастическим реализмом», мы можем назвать его рационализм «фантастическим рационализмом». «Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому, что слеп» (13; 115), — читаем мы в романе «Подросток» (1875). Также слепы реализм и рационализм социалистов и нигилистов, потому что берут

свое начало в осязаемом, в обыденном, в том, что можно занести в «таблицу». В заметках, сделанных Достоевским у гроба своей жены, в которых он записал свои философские мысли о жизни после смерти, выражено глубокое убеждение писателя в том, что мир управляется высшим разумом, дающим место неожиданности, или «благодати». Этот удивительный и непредсказуемый элемент, по мнению Достоевского, можно непосредственно наблюдать: разве не вопреки всякому «здравому смыслу» и всем научным расчетам мужик Марей пожалел маленького барчонка? То «золото» (28, I; 172), о котором писал Достоевский и которое он обнаружил в душах каторжников, также невозможно найти с помощью превозносимого Чернышевским и высмеиваемого подпольным человеком рационализма. Достоевский сам, пожалуй, не является рационалистом в обычном понимании, но он и не иррационалист. Когда подпольный человек выдвигает волю, как величину превосходящую разум, он делает это потому, что воля содержит в себе то, чего объективный «эвклидовский разум» не имеет. Он подчеркивает, что можно прекрасно «а иногда и положительно должно» (5; 113) — желать себе того, что совершенно расходится с личной выгодой, уточняя таким образом, о какой воле идет речь: «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела» (там же).

Главными возражениями Достоевского и подпольного человека против логики и рационализма является то, что они — инструменты, не улавливающие собственно человеческое, но и воля, сама по себе, также не представляет чего-либо положительного. Воля, о которой говорит подпольный человек, не тождественна той части души человека, которая влечет его к наибольшему удовольствию и счастью, ее также нельзя путать со страстью, ураганом проносящейся через всего человека, превращая его в руины. Воля — это стремление человека к проявлению того, «что лучше в нем» (18; 31), к ней и хочет приблизиться Достоевский. Тяга к самовыражению существует независимо, рядом с разумом и волей, и может использовать оба эти свойства души. Эту тягу «фантастический рационализм», видящий людей, а не «фортепьянные клавиши», Достоевский противопоставляет разумному эгоизму Чернышевского,

который вместе с другими нигилистами не видят самого важного — внутренней ценности человека. Пытаясь сконструировать целое общество или собственную жизнь в соответствии с «таблицей», они вступают на путь, неизбежно ведущий к разрушению, самоубийству или убийству. Если их расчет с самого начала исключает самого человека, то нет ничего удивительного в том, что они в конце концов приходят к миру, в котором жизнь человека невозможна. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (10; 311), — говорит Шигалев в «Бесах», захваченный своей социалистической системой, не понимая, что не логические истины должны направлять реформаторов, а признание ценности человека.

Ценность человека выражается в его тяге к свободе, подавить которую невозможно, разве только что извратить. Если тяга к свободе и стремление «проявить то, что получше» не находят достойного выхода, они выплескиваются как хаос и разрушение; оборачиваясь также и против самого человека, как и против окружающего мира. Отсюда мнение Достоевского о том, что нигилисты не только распространяли яд в русском обществе, но отравляли им и себя самих. Посадив себя за решетку рационализма, они тем самым отрицали и свое собственное существо. Но человеческое берет свое и у них: судьбою рационалистов становится то, что они, как будто исходя из логики, вынуждены совершать преступления, которые в конце концов оборачиваются против них самих. Когда дело заходит так далеко, то получается удивительное открытие: преступления и злодеяния нигилистов есть не что иное, как извращенное проявление их собственной жизненной воли, то есть отчаянный крик той самой души, которую сами они отрицают. Тот, кто вовремя не познал свою человеческую природу, получает последний шанс к познанию самого себя в преступлении, которое понимается как стремление к страданию, или вернее, как стремление к познанию, которое несет страдание. Это одна из тем первого большого романа Достоевского — «Преступление и наказание», который последовал за «Записками из подполья».

Подпольный человек не способен на большее, чем только угадывать скрытую в страдании возможность; его силы хватает только на то, чтобы запутать себя самого в паутине своих же мыслей, и, наподобие спятившего паука, наполнять себя своим же ядом. Подпольный человек совершает душевное самоубийство, не сумев освободиться от разоблаченного им рационализма, хотя и указывает на то, что могло бы вести его дальше в жизнь и в развитие: «После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — замкнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки

подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего» (5; 119). На свой пародийно-извращенный манер человек из подполья снова раскрывает одну из тех истин, в которых Достоевский был глубоко убежден, — истину об очищающем свойстве страдания. Страдание — это не только цена преступлений и ошибок, оно таюже и ворота в новую жизнь.

СЕКРЕТ ДОСТОЕВСКОГО

«Никогда еще сложность человеческой природы не была так раскрыта, как у него», — пишет Кнут Гамсун о Достоевском, «его психологическое чутье огромно, пронизательно. Оценивая его, не хватает меры, которой его можно было бы мерить. Он один»¹.

Фридрих Ницше, не отличавшийся щедростью на похвалы, называет Достоевского единственным психологом, который мог бы его чему-то научить². Лев Толстой, так никогда и не встретивший своего современника и соотечественника, после смерти писателя пишет его жене Анне Григорьевне: «Достоевский был для меня очень важный и дорогой человек и, может быть единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить»³.

Бывший сотрудник Зигмунда Фрейда, австриец Альфред Адлер и французский поэт и философ Альберт Камю принадлежат к числу тех, кто, по их же словам, нашли ответ на некоторые из своих вопросов у Достоевского: Адлер развил свою индивидуальную психологию отчасти вдохновленный последовательным исследованием Достоевским тяги человека к сознанию своего достоинства⁴. Альберт Камю изложил в «Мифе о Сисифе» основные тезы своего «абсурдизма», ссылаясь на логическое самоубийство Кириллова в «Бесах».

О том, в какой степени Достоевскому удастся поставить решающие вопросы перед современными людьми и, может быть, самому же на них ответить, свидетельствует постоянное переиздание его произведений. В Норвегии в 1993 году наконец вышло собрание его сочинений. Во Франции и Германии его переводят заново. По утверждению переводчиков, Достоевский никогда не был верно представлен их языковой областью, его, с первого взгляда, часто неуклюжий и шероховатый язык раньше старались отшлифовать и, так сказать, «улучшить». Теперь же книги Достоевского издаются такими, каковы они есть, и этот «настоящий» Достоевский имеет успех. В Германии в 1995 году новый перевод «Идиота» за несколько месяцев был продан в 10 000 экземплярах.